

ПАМЯТЬ О ДЕПОРТАЦИИ КАЛМЫКОВ “ПОКОЛЕНИЯ 1,5”: КОНСТРУИРОВАНИЕ НАРРАТИВА

Э.-Б.М. Гучинова

Эльза-Баир Мацаковна Гучинова | <http://orcid.org/0000-0002-9901-0131> | bairjan@mail.ru |
д. и. н., ведущий научный сотрудник | Институт этнологии и антропологии РАН
(Ленинский пр. 32а, Москва, 119991, Россия)

Ключевые слова

депортация калмыков, социальная память, Сибирь, калмыки, нарратив, язык травмы, поколение 1,5

Аннотация

Память о депортации калмыков как о травматическом событии неоднородна. Женщины и мужчины, высланные подростками либо взрослыми, или рожденные спецпереселенцами калмыцкие дети имели разный опыт выселения и выживания и по-разному помнят эти годы. Собранные мной устные истории показывают память сообщества через личные нарративы, открывая многообразие персональных стратегий выживания и сопротивления. В этой публикации я хотела бы на примере одного интервью показать особенности социальной памяти о депортации калмыков и специфику нарратива об этом “поколения 1,5”. Основная исследовательская задача состояла в том, чтобы проанализировать сюжеты, образы, оценки, с помощью которых формируется нарратив о депортации калмыков у “детей Сибири”. Другие задачи публикации: выяснить как работает язык травмы в повествовании о депортации калмыков, показать возможности комментария как научного жанра. Статья состоит из трех частей: введения, фрагментов текста спонтанного интервью и комментариев к ним. В исследовании использованы метод дискурсивного анализа и поколенческая теория. Полевой материал представлен в виде транскрибированного текста интервью, записанного автором в 2006 г. Дискурсивные стратегии нарратива говорят о его позитивном характере.

Информация о финансовой поддержке

Статья публикуется в соответствии с планом НИР ИЭА РАН

XX в. в СССР был полон драматических событий. И сегодня мы все еще недостаточно ясно представляем себе масштабы и последствия тотальных переселений народов в годы Великой Отечественной войны. Контуров этих переселений очерчены документами репрессивных органов, проводивших депортации или осуществлявших надзор по месту

Статья поступила 15.09.2022 | Окончательный вариант принят к публикации 25.11.2022
Ссылки для цитирования на кириллице / латинице (*Chicago Manual of Style, Author-Date*):

Гучинова Э.-Б.М. Память о депортации калмыков “поколения 1,5”: конструирование нарратива // Этнографическое обозрение. 2023. № 1. С. 30–44. <https://doi.org/10.31857/S0869541523010037> EDN PLUMZR

Guchinova, E.-B.M. 2023. Pamiat' o deportatsii kalmykov “pokoleniia 1,5”: konstruirovanie narrativa [The Memory of the Deportation of Kalmyks of “Generation 1.5”: Narrative Construction]. *Etnograficheskoe obozrenie* 1: 30–44. <https://doi.org/10.31857/S0869541523010037> EDN PLUMZR

высылки, и как документы служебного назначения они преследовали свои цели. Но если в центре антропологического исследования оказываются жизнь человека, его идентификационный опыт, практики выживания и сопротивления, то мы располагаем таким источником, как память свидетеля. Свидетелями депортации были почти все калмыки, вернувшиеся из Сибири на территорию повторно созданной в 1957 г. Калмыцкой автономии, но несколько последующих десятилетий они были молчаливыми свидетелями. Однако память, чтобы стать достоянием общества, должна быть “облачена в слова”. В этой статье рассматриваются не зафиксированные на бумаге, отредактированные тексты, а история, рассказанная моей собеседницей.

“Устная история возвращает историю людям, – писал П. Томпсон, – и это история, рассказанная их собственными словами” (Томпсон 2003: 303). Память – категория гибкая, постоянно меняющаяся. Когда люди вспоминают эпизоды своей жизни – и таких частных воспоминаний десятки, – то вместе все нарративы могут составить репрезентативное представление о повседневной жизни и чувствах группы, история которой плохо документирована.

Приведенное в статье интервью является частью проекта “У каждого своя Сибирь”, в рамках которого я собираю и анализирую спонтанные рассказы о депортации калмыков, находя в каждой личной истории новые сведения о том, как выживал и осваивался человек в сложных, иногда экстремальных социальных и климатических условиях. Записанные интервью я зачастую анализирую попарно (рассказы мужчины и женщины или людей, отличающихся по возрасту), пытаюсь увидеть гендерную специфику, влияние на процесс адаптации социального статуса семьи и разницы в возрасте внутри одного поколения (Гучинова 2019; Гучинова, Клименко 2022).

Важным методологическим инструментом данной работы стала категория “поколение”. Вслед за рядом исследователей я понимаю термин “поколение” как “рамку идентификации действующих субъектов, набор их ориентации, структуру опыта”, так как рассматриваю поколение свидетелей крупномасштабного перелома, общего срыва большинства рутинных механизмов социального порядка, систем его поддержания и воспроизводства (Дубина 1991). К одному поколению можно отнести людей, которые: во-первых, живут в одну историческую эпоху, т.е. сталкиваются с одинаковыми ключевыми историческими событиями и социальными веяниями, находясь в одинаковых жизненных фазах; во-вторых, разделяют определенные общие убеждения и модели поведения; в-третьих, зная об опыте, который разделяют со своими ровесниками, они разделяют и чувство принадлежности к данному поколению. Поколения сменяются каждые 20 лет (Strauss, Howe 1991: 58–68). Российские ученые предложили свою поколенческую историю применительно к России (Ядов и др. 2005). Однако для калмыков и других тотально сосланных групп стоит выделить поколенческую периодизацию депортации, поскольку депортация кардинально изменила жизнь и статус людей; опыт жизни на новом месте напрямую зависел от возраста спецпереселенцев. Становление “поколения 1”, на которое пришелся самый тяжелый груз ответственности и выживания за 13 депортационных лет, можно определить следующими хронологическими рамками: 1920 г. (образование Калмыцкой автономной области) – 1940 г. (последний предвоенный год). “Поколение 2” я бы “открыла” 1941 г. и “завершила” 1957 г. – годом массового возвращения в родные степи и восстановления Калмыцкой автономии. Но если мы ориентируемся на депортацию как определяющее событие для этой этнической группы и фокусируемся на исследовании памяти о нем, то

представляется оправданным выделение “поколения 1,5” – детей, родившихся между 1931 и 1949 гг. и ставших спецпереселенцами, когда им не исполнилось и 12 лет. Именно этот возраст применительно к мигрантам был назван Р. Рембо верхней границей “поколения 1,5” (*Rumbaut* 2004: 1162–1163). Если “поколение 1” в полной мере хлебнуло горечь чужбины, а “поколение 2”, родившееся там, практически не застало самые трудные годы, то “поколение 1,5” в какой-то степени объединяет опыт и тех и других. При этом указанные границы могут быть подвижными, ведь “важнее возраста оказываются общие ценности и ощущение совместной социально-исторической судьбы одного поколения” (*Анипкин* 2018: 193).

Долго молчавшие о сибирском опыте калмыки заговорили о нем во время либерализации 1990-х годов, когда вышел закон “О реабилитации репрессированных народов” (1991) и последующие материальные компенсации государства стали социальным контекстом, в котором складывался коллективный меморат о депортации. Шквал публикаций личных историй в областных и районных газетах задал некоторый канон, который формировался местной периодикой. Но первыми были напечатаны воспоминания профессионалов пера – журналистов и историков (А.С. Романова, Я.С. Джимбинова, М.П. Иванова и др.), которые до этого или писали в стол, или молчали, пока эта тема зрела в них по мере того, как центральная пресса осваивала проблемы сталинских репрессий. Эти авторы принадлежали к “поколению 1” – людям, родившимся накануне или после установления советской власти в калмыцких степях, их можно считать первым советским поколением, пионерами модерна в Калмыкии. Они жили в школах-интернатах, учились по единым для страны учебникам на русском языке, были атеистами, вступали в пионеры и комсомольцы, шли добровольцами в Красную армию, когда началась война. Для них было важным поделиться воспоминаниями о Сибири, ведь опубликоваться в оттепель успели немногие, а рассказать молодежи правду о той эпохе могли только они. Журналисты и писатели “поколения 1” считали нужным обращаться к таким сюжетам, которые были хорошо им известны: о Широклаге, своем внутреннем неприятии указа о ликвидации Калмыцкой АССР, о калмыках – героях Великой Отечественной войны, о сложных отношениях с комендантами и представителями власти, о работе комитета по восстановлению автономии (*Гучинова* 2019). Эти публикации задали структуру нарратива, который отражал важные вехи депортации: день выселения, дорога в Сибирь, первые встречи с местным населением, работа и жизнь в Сибири, снятие ограничений и возвращение.

Рассказчики “поколения 1,5” добавляют свои сюжеты: о школьной жизни, о преградах при поступлении в вуз, о своей проблемной этнической идентификации (*Гучинова, Клименко* 2022; *Гучинова* 2021a). Кроме поколенческих различий мы можем говорить и о различиях гендерного опыта – у мальчиков и девочек часто были разные адаптационные проблемы, и о различиях социального статуса – приобретенный до депортации, он имел значение и на новом месте (образованные родители и их дети знали русский язык, и последним было легче адаптироваться к непривычной среде и в школе, и на улице). Семьи из сельской местности, которых среди депортированных было подавляющее большинство, говорили дома на калмыцком языке, по-русски объяснялись далеко не все. Моя бабушка, рожденная в конце XIX в. и ушедшая из жизни в 1981 г., по-русски знала всего несколько слов, поскольку работала она только во время трудовых мобилизаций 1942 г., была выслана и прожила 13 лет в Новосибирской области в семье сына, с которой и вернулась в Калмыкию.

Если какое-то событие запомнилось человеку, возможно, оно было важным не только для него одного. Мысли, чувства, эмоции, слова и, следовательно, воспоминания социальны; они создаются сообществом, несмотря на то что каждый человек уверен в исключительности собственных переживаний и впечатлений (Чуйкина 2006: 219). Как и социологи, понимающие “биографию как социальный конструкт социальной реальности, устная история реконструирует нарратив, который интервьюируемый создает из своей жизни” (Дубина 2021: 158).

Цель этой публикации – показать на примере одного интервью, как конструируется память о депортации группы, какие сюжеты и мотивы типичны для нарративов “поколения 1,5” и как типичное индивидуализируется. Автор обращает особое внимание на язык *травмы*, которым рассказываются травматические сюжеты, на его приемы и специфическую лексику. Анализ спонтанного автобиографического рассказа через исследование практик выживания и адаптации позволяет прийти к пониманию социальных контекстов, в воспроизводстве и трансформации которых рассказы “детей Сибири” вносят свой вклад.

Интервью с Галиной (1937 г.р.) состоялось в Элисте в 2006 г. Оно было свободным по форме, мне было важно уловить спонтанную речь: слова и выражения, которые сами слетают с языка. Собеседница была готова рассказывать о своей жизни в Сибири, но не знала, что именно меня будет интересовать. Я же, задав тему, слушала повествование, только уточняя некоторые моменты, не оказывая влияния на выбор сюжетов. Текст был транскрибирован, опубликованные ниже фрагменты представлены без изменений, но озаглавлены мной.

Выселение

Сюжет об изгнании из дома – обязательный для нарратива о депортации. Его не воспроизводят только дети, родившиеся в Сибири или увезенные туда в младенчестве. В памяти “поколения 1,5” выселение сохранилось достаточно четко, часто передается через яркие образы или общую атмосферу. Семья Галины проживала в Яшалтинском улусе (районе), в колхозе им. Кирова, на территории, которая в 1942 г. в течение пяти месяцев была оккупирована немецкими войсками. Отец рассказчицы был мобилизован и служил в Красной армии.

Нас было шестеро. Самому старшему брату было 16 лет, одной сестре было 14, Полине 10, мне 6, среднему брату было 5, а младшему ровно год. Старшая сестра побежала, вернула телку. Солдаты сходили в сельсовет, вернулись, забили телку и позвали старика-соседа. Тот сказал: надо мясо нарубить на мелкие куски, посолить и заложить в *гузын* [желудок]. Они так и сделали. На потолке висел жир, в чашках остуженный. Солдаты в мешок этот жир положили, мясо и жир – вот что мы взяли. Когда нас собрали с вещами, вся обстановка, вся мебель осталась. Мы только [одежду] на себя надели. Они сказали, берите постельное белье, сменную одежду. Мы все затолкали в мешок. Солдаты все сами перевязали и вынесли.

А мама все бегала, договаривалась с соседкой Полиной Солодовниковой. “Полинка, ты забери Витьку моего, младшего, нас все равно вывезут в кюветы, расстреляют, пусть хоть Витька живой останется”. А у Виктора с ее сыном разница в полгода была. У них корова доится – они там молоко пьют, у нас доится – у нас молоко пьют. Так они вдвоем росли. Почему-то мама думала: вывезут и расстреляют. Ей ничего не пояснили, а она и слушать не хотела. Ей тогда было 42 года. Она хорошо говорила на хохлячем языке, по-украински. Если она отвернется и говорит, то ни за что не скажешь, что не украинка. Мы все сели, а Полина держит на руках пацана. – А это чей пацан? – Это я отдала соседке, пусть остается здесь. У меня муж на фронте, мне пятерых хватит, все равно эти все умрут. Тогда молодой солдат выскочил, они по краям сидели, и побежал, взял Витю и увидел, что висит длинный большой тулуп. А Витя почти голый – в одной рубашке. Завернул его в тулуп, принес, сел и держал до самого Сальска. Он сказал: “Мамаша, детей никогда не надо бросать. Через 20 лет он вырастет и такой же солдат будет, как и я. Ничего, надо быть всем вместе”.

Один из первых сюжетов, связанных с выселением, отражает желание матери отказаться от младшего сына. Еще не понимая в полной мере содержания Указа Президиума Верховного Совета СССР “О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР” от 27.12.1943 (*Бакаев и др.* 1993: 18–19), она чувствует, что обвинение построено на принципе коллективной вины, а вина заключается в принадлежности к этнической группе. Память напоминает ей, как в 1942 г. были расстреляны немцами эвакуированные сюда в начале войны евреи, и она пытается оставить годовалого сына соседям, полагая, что всех высылаемых тоже расстреляют. Травматический опыт нахождения в оккупации подсказывал самые худшие сценарии, если вина человека в том, что он относится к дискриминируемой этнической группе. Казалось бы, что мать – самая ответственная в силу возраста и статуса, должна осознавать последствия своих действий, но она в этой ситуации реагирует неадекватно. В ее голове зреет план оставить ребенка у соседки. Высылавший семью солдат не дает этому свершиться. Если бы материнский замысел удался, ввиду иной внешности ребенок так или иначе был бы идентифицирован как калмык, и мальчика забрали бы в детский дом. Где было больше шансов выжить, неизвестно, но для семьи ребенок был сохранен.

Солдаты, пришедшие выселять, т.е. наказывать (“наказанными” были названы [*Некрич* 1978] шесть депортированных с ноября 1943 по май 1944 г. народов), помогают собраться в дорогу семье К., спасая и младшего ребенка, и, возможно, всех остальных. Выполняя указ, солдаты заготавливают продукты в дорогу, перевязывают вещи растерянным людям. Видимо, понимая, что выселяют семью фронтовика, военные стараются выполнять приказ как можно гуманнее. Эта противоречивость отражает социальную реальность той эпохи, в которой жестокость и милосердие часто соседствовали, а те или иные действия нередко зависели от конкретных обстоятельств и конкретных исполнителей.

Дорога

В Сальске нас посадили в поезд. Когда мы поехали, в вагонах были двухярусные нары. Мы оказались на нижней полке. Вагон был переполнен людьми. В сутки раз, когда давали продукты, открывали двери на остановках. Тогда все выходили, а старым было очень трудно ходить оправляться в туалет. Они не стеснялись. Садились возле путей. Тогда мужчины разрубили деревянный пол. Все равно все старались ходить в туалет ночью, чтобы друг друга не видеть.

Над нами больная женщина была. Вдруг среди ночи – в памяти осталось – мама как начала кричать: “Что это такое? Ты что там, как золото, держишь?” Оказывается, эта женщина в какую-то жестяную банку опростывалась и завязывала за что-то. А когда вагоны дергали, это опрокинулось на соседнюю семью и на наше одеяло. Такой шум был. И какой-то взрослый мужчина – или ответственный или он сам взял на себя такую миссию – подошел, говорит: “Разве так можно делать? Вон же все сходят на остановках”. А дочь говорит: “Она встать не может, болеет”. Покричали, и все прошло.

Когда выезжали, даже сесть места не было. Умудрялись даже под нижней полкой найти место, чтобы там поспать. Мама давала нам фуфайки – в чем днем были, тем ночью укрывались. Каждый день кричали “обед, обед!” Как грозно открывали эти замки! Какой грохот! Каким-то ломом выбивали. Приносили в вагон и раздавали. Я не знаю, кому доставалось, а кому нет. А многие сами бегали на остановках за хлебом, за водой. В вагоне было очень холодно. Пол деревянный, в щели дуло. От этого многие болели. Как только поезд остановится, все время кричали: “Мертвые есть?” Это значит, что поезд стоит дольше. Тогда говорили некоторые: “Ой, я успею сбежать за хлебом”. Выносили мертвых на одеялах. Когда проносили мимо нас, мама говорила “закрой глаза, отвернись”. Мы руками закрывали глаза и отворачивались. А вообще-то нам было все равно, мы не особенно боялись. Я везде бегала – смотрела. На верхних нарах у женщины ребенок все время плакал. Старики говорили, что от недоедания, покормите его хорошо. Он и сейчас жив, а мать умерла сразу.

На какой-то остановке дверь открыли и говорят “идите получать продукты”. А мы никто смотреть не можем – глазам больно смотреть на снег, белым-бело. Мы столько снега никогда не видели.

Дорога в Сибирь – также обязательный сюжет любого рассказа о депортации. Это было время, когда первый шок почти прошел, и взрослые люди в течение 2–3 недель, что длился переезд, должны были адаптироваться к новой ситуации и решать самые простые задачи, от которых каждый день зависели здоровье и жизнь близких: еда, тепло, гигиена. “Скотские” вагоны не были предназначены для перевозки людей. В них были наспех сколочены нары, но никакие удобства не были предусмотрены. Дегуманизация “виноватых” отражалась в нечеловеческих условиях транспортировки. Дорога в Сибирь стала практически обрядом перехода, только не в другую возрастную категорию, а в другой гражданский статус – репрессированной этнической группы. Жизнь в темном тесном вагоне, грязь, голод и жажда, необходимость публично испражняться в том же пространстве, в котором едят и спят, невозможность умыться, – это и есть лиминальные условия, описанные А. ван Геннепом, которые из символических становятся реальными. Реальные люди в этих вагонах вынуждены были существовать в ситуации, когда были нарушены все базовые нормы жизни любого человеческого сообщества. По мере продвижения на восток утрачивалось ощущение привычных статусов, и в пункты назначения приезжали уже спецпереселенцы (Гучинова 2021б).

Повествование о травматическом, как правило, содержит особые темы и сюжеты, с неизбежностью появляющиеся в нарративе и создающие язык травмы. Одна из таких тем – тема испражнений, в рассказах о нормальной жизни она, как правило, отсутствует, что отражает культурные нормы общества. Своим зримым присутствием в повествовании о депортации нечистоты свидетельствуют о травматическом воздействии событий давнего прошлого, в котором иногда стиралась грань между человеческим и скотским существованием.

Первые месяцы в Сибири

Мы приехали в Красноярский край, на Мозульский марганцевый рудник... В один маленький дом поселяли по восемь семей. Четыре двери – по две семьи в каждой. Володя Дараганов был такой возчик. Он и воду возил в бочке, мы все выходили брали. Он набирал воду. А мы, как могли, домой заносили. Он всегда с обеда воду возил. А с утра мертвых выносил. Мы все-все выбегали смотреть. У него была кошелка. Он подряд по этой стороне собирал людей мертвых, пока она не будет полная. А сам сидел на кошелке впереди. Или от испуга, или он был такой веселый человек, ему лет 20 было, до того он громко пел народные песни, про тайгу. Как Володя Дараганов поет, все знают, что Володя мертвых собирает, только у калмыков. Бывало так, что женщина больная, а бабушка умерла или наоборот. Тогда он сам заходил, кого-то просил, и вдвоем они выносили. В первую зиму люди умирали. Стены бараков были из сырых бревен. Многие заболели. Ни медицинского обслуживания, ни лекарств – ничего не было. Вот человек заболел, лежит-лежит и умирает. Во-первых, от голода, во-вторых, нет ухода. Потом, видимо, как-то приспособились и уже не голодали. В первую зиму всегда полно людей было в его кошелке – январь, февраль, март. Сколько людей он собирал, я не знаю, но всегда были люди.

Язык травмы не может избежать *темы смерти*. Действительно, в первые два года, особенно в первые месяцы после выселения, смертность калмыков была экстремально высокой. Рассказчица на всю жизнь запомнила имя Володи Дараганова и его занятие – собирать умерших. Водовоз возит не только воду, но и мертвые тела. Трупы стали такой же неотъемлемой частью жизни высланных,

как и вода. При этом Дараганов помогает выносить тела тем, у кого на это не хватает сил. Он и сам с трудом справляется с ролью Харона, потому и поет песни, которые поддерживают его в этом тяжелом деле.

Школа

Мне исполнилось 8 лет, а в школу меня не отдавали. Я просилась в школу, а одевать нечего было. Были одни черные мальчишковые ботинки на двоих. Полина ходит с утра. А я с обеда. Каждый день опаздываю на 15–20 мин. Я на гору пулей прибегала. Видимо, учительница чувствовала, что я так бежала. Запыхавшись, захожу. – Можно? – Можно. Галя, почему ты каждый день опаздываешь на 20 минут? Я молчу, не могу при всех сказать, что ботинки одни. Стыдно было, что ли? Она меня оставила, говорит, ну теперь рассказывай, почему опаздываешь. Я стала рассказывать. Русский плохо знаю, как могу, так и рассказываю. – Польша пока с первой смены придет. Она так тихо ходит. – А почему ты Польшу ждешь? – Ботинки мне нужны. – Больше нету? – Нету. Она посмотрела на мои ботинки. Мои ботинки были – пока Полина пойдет по снегу туда, а 40-градусный мороз, пока обратно придет, потом посмотрит, как другие на горе катаются. Я ей кричу: “Иди быстрее”. Быстро переобуюсь. В классе эти ботинки на мне сохли, потому что мокрые были. Как я еще не заболела. А Полина наша, когда она не голодная, она ходила в школу. А когда есть было нечего, она говорила “не хочу в школу”. Я тогда радовалась, что сегодня не опоздаю и ботинки сухие будут. Учительница посмотрела на меня... Моя первая учительница Дора Ильинична – это было, наверно, во втором классе – и говорит: “Сейчас пойдем к директору”. Тогда сказать “не пойду до директора” мы никак не могли. Думаю, наверно, ругать будет. Он выслушал и говорит: “Пойдемте на склад”. Николай Федорович, лет 50, был горбатый. И учительница говорит: “Ей нужно пальто, в ботинках она не может проходить всю зиму, ей пимы нужны”. Мне дали защитного цвета платье и такого же цвета пальто. Это пальто я носила до шестого класса. Пять лет носила. Мама моя каким-то бордовым плюшем наставила рукава и подол, и еще два помпона [сделала]. И пимы я носила несколько лет.

Для “поколения 1,5” школьные сюжеты особенно важны. Именно в школьном пространстве калмыцкие дети социализировались в статусе спецпереселенцев и должны были сами, без помощи взрослых, решать проблемы своей идентификации и выстраивания отношений с большим сообществом. Очевидно, что в этой ситуации имело значение то, каким человеком был учитель или директор школы. Многие калмыки из “поколения 1,5”, как и Галина, на всю жизнь запомнили имена своих педагогов.

Не один раз в рассказе встречается *тема добрых людей*, вспоминаются солдаты и сибиряки. Это важный элемент каждого нарратива о Сибири, косвенно утверждающий, что народ был мудрее своих правителей: простые люди, жившие бок о бок со спецпереселенцами, не видели в калмыках врагов, а жалели их и помогали им. *Тема инвалидности* в рассказе Галины отражается в образе директора школы, горбуна. Почти в каждом интервью о депортации калмыки упоминают человека с инвалидностью, во многом потому, что он тоже относился к стигматизируемой части населения. Язык травмы фиксирует принадлежность к “невидимым” группам, и невольно находятся социальные аналогии. Разница в статусах заключалась в том, что инвалид войны или инвалид детства был ограничен в своих физических возможностях в силу заболевания или ранения, калмыки же были ограничены в своих правах, в том числе и в праве на передвижение с декабря 1943 г., а с 1949 г. “навсегда” утверждены в статусе спецпереселенцев, как инвалид навсегда остается со своим увечьем.

Местные

Настолько люди были добрые. Мама говорила: “Вот пойдی туда. Где голубая дверь, туда беги. Отнесешь валенки, тебе молока нальют”. Я валенки отдам, а мне и полбулки хлеба отрежут, или плюшек, пирожков. А если у меня варежек нет и руки мерзнут, мне заворачивали и давали под мышку. Уже сибиряки к нам свыклись, стали помогать – делились картошкой, хлебом. Отец наш говорил, да они же боятся, думают, что людоеды, и поэтому двери не открывают.

В первое время все так удивленно смотрели на меня. Но привыкли. Единственное что было – местные люди всегда были хорошо одеты. Это я хорошо помню. Как-то мне было очень обидно, что мне нечего одеть, обувь. Я в одной и той же юбчонке все время ходила. Почищу, и на спинке стула висела все время моя юбка. Мама говорила: “Гая одна ходит, надо ей одеваться”. Она старалась, к весне платье летнее сошьет, но чтобы из магазина, как другие одеваются, – не было такой возможности.

Вновь рассказчица подчеркивает доброту местного населения. Это о них писал калмыцкий поэт Д. Кугультинов как о “лучших русских” (*Кугультинов* 1988: 25). Незнакомые люди помогали собраться в дорогу во время выселения и не потерять ребенка, угощали пирожками пришедшую за молоком калмыцкую девочку, покупали лесные ягоды именно у детей спецпереселенцев. Хотя отец рассказчицы упоминает, как боялись местные жители калмыков, принимая их за людоедов, помнится такое отношение как ошибочное, как недоразумение, а хорошие поступки – как норма.

Женская история редко обходится без проявлений телесности, которая отражает субъектность рассказчицы. В нарративе Галины тоже много телесности, как и элементов травматической памяти, поскольку эта память часто воспроизводит несоответствие норме – нехватку еды, обуви, одежды и т.д. (другой знак травмы): “чтобы из магазина, как другие одеваются, – не было такой возможности”. Мокрые ботинки, которые сохнут на ногах, юбка на стуле, не имеющая замены, пальто, которое носилось шесть лет и надставлялось несколько раз.

Ягоды

Сибирь богата ягодами. Мы выходили на трассу – почему-то тогда никого не боялись. Если мы, дети, на трассе стоим, то обязательно машина остановится, нас посадят то в кузов, то в кабину. Потом говорят: “Вот здесь, далеко не ходите. Если пойдете и неба не видно, вы заблудились. Ягод много – и по краю, и в глубине. Собирайте по краю. На обратном пути я вас заберу”. Видимо, ему нас было жалко. Мы с этим водителем часто попадали. “О, мои красивые пришли”, – он так шутил. И всегда довозил. Мы две корзины ягод соберем, мы домой не носили. А сестра была такая стеснительная, говорила: “Не надо. Как мы будем продавать?” – Все за прилавком стоят, и я стану за прилавком, буду продавать. Я приду и стану, бабушке говорю: “Подвиньтесь, пожалуйста”. Она говорит: “Ох, какая шустрая – у тебя же целая корзина”. – А я ее так поставлю, много места не займет. – Ну ладно, пусть становится, – другие говорят. – Почему будешь продавать? – А почему люди продают? И я буду продавать так же. Идет женщина, так хорошо одетая, жены офицеров – так говорили. Там была офицерская школа. – Девочка, ты это за сколько хочешь отдать? – Не знаю. Тут бабушки говорят: “Возьмите вот за столько, тут примерно столько будет, она даже дешевле отдаст. Отдашь, дочка?” – Отдам. Она дает мне деньги, и я развязываю и даю ей ягоды. Она говорит: “Ты здесь постой, я высыплю и принесу тебе корзину”. Я стою и в уме считаю, сколько стаканов муки будет, я же математик. Потом подхожу, говорю: “Бабушка, мне 22 стакана муки в платок”. А она говорит: “Ты хорошо посчитала?” Она посчитает: “Правильно все, ты в каком классе?” – В пятом. – Молодец, хорошо считаешь, вот тебе еще один стакан за математику. И мы несем муку домой. Полина дома говорит: “Смотри какая Галка вредная, я говорю домой ягоды, а она на базар меня потащила. Но мы долго не стояли на базаре. Мы муку принесли”. И мама говорит: “Ой как хорошо, я сейчас оладьи напеку”. Вот так мы с детства привыкли кормиться.

Тема раннего взросления присутствует незримо во многих нарративах “детей Сибири”. Она проявляется, как правило, в сюжетах о раннем приобщении к домашнему труду или о столкновении с враждебным внешним миром. Галина рассказывает о новом для калмыцкой семьи занятии – сборе и продаже лесных ягод, это новые практики даже для старших членов семьи. Дети “поколения 1,5”, повторяя занятия местного населения, легко делали то, что “поколение 1” даже не пробовало.

Не стоит забывать, что многое в судьбе человека определяла его индивидуальность. В рассказе Галина не раз упоминает свою стеснительную, болезненную сестру Полину. Мы встречаемся с тем, что одно и то же действие становится предметом гордости для Галины и вызывает стыд у ее сестры. Обе девочки росли в одних и тех же условиях, но вели себя по-разному, наверняка так же различались бы их нарративы. Возможно, старшая сестра имплицитно чувствует свою вину за непросчитанный риск похода в лес, но, не умея это выразить, извиняется за редкие для калмыков практики торговли.

Коса

У нас в техникуме куратором была москвичка. Она сказала: “Все идите, а Вы останьтесь”. Я думаю, а что она хочет? – У Вас косы свои? – А я даже понятия не имела, что могут быть не свои косы. Я расплела конец косы и кинула на парту. Она пощупала и спрашивает: “А чем Вы моете?” Я подумала: наверное, пахнет арьяном. А мама меня каждую субботу заставляла голову мыть кислым молоком. Мне все время хотелось отрезать [волосы] снизу. А мама говорила – красота только в косе. Две большие косы мою голову все время назад тянули. Я все думала, когда же я пойду работать и жить отдельно и отрежу косы, чтобы голове было легче. Но потом выросла и поняла, что резать не надо, потому что коса – это красота. Все удивлялись, потому что одна коса впереди, одна сзади. Некоторые думали [глядя] сзади, что одна коса, я повернусь, а они – еще одна? Все удивлялись и спрашивали: “Свои?”

Коса как символ женственности особенно ценится в обществе с сильным патриархатным влиянием. Комсомолки 1920-х годов смело отрезали волосы, не желая тратить на уход за ними свое время. Мать Галины, социализация которой, видимо, выпала на годы, когда красные косынки еще не были распространены, приучает дочь ценить косу, говоря, что в ней сосредоточена “вся красота”. Конечно, изменить свою внешность, так отличавшую ее от сверстников, девушка не могла. Но она могла отрастить косы в руку толщиной, этим выделившись в среде ровесниц, и носить две косы в школьном возрасте. “Разделить волосы” в калмыцком языке было синонимом “стать женщиной”, “выйти замуж”. Поскольку калмыцкие женщины делили волосы пробором только после замужества, две косы у школьницы – маркер “советской калмычки”, значит, и вся семья приняла правила большого общества. Конечно, девочки наверняка хотели причесываться, как местные модницы, и в случае Галины с этим была согласна мама. Видимо, в Сибири “поколение 1”, озабоченное вопросами выживания, не возражало против прически, распространенной среди местного населения, хотя и не соответствовавшей калмыцкой традиции. Это одно из многих подтверждений того, что жесткой культурной нормы в этнической группе нет. Представления о “правилах” отступают в эпоху перемен, иногда навсегда уходят в прошлое, иногда снова всплывают в измененной форме.

В рассказе Галины особенно хорошо видно, как конкретные сюжеты строятся в терминах стыда. Это и специфика женского повествования, и отражение постоянной неуверенности, надолго оставшейся после пусть и относительно

краткого периода дегуманизации: наверное, от косы пахнет кисломолочным продуктом, и за это может отругать строгая учительница.

Русский язык

Вначале все говорили по-калмыцки, потому что по-русски не знали. А потом выучили и больше стали говорить по-русски. До войны все дети говорили по-калмыцки в нашем селе, Гетман Вера и сейчас по-калмыцки лучше меня знает... Я не плакала, не обижалась. Я знала, что я русский язык не знаю. Дора Ильинична говорила: “Не беспокойся, Галя, ты еще лучше всех будешь писать”. И в техникуме меня всегда хвалили. <...> Я поступала в Саратовский торговый институт. Был такой случай. Перед экзаменом я сказала: “Я русский хорошо знаю, если кто плохо знает, садитесь со мной”. Стоит красивый русский парень и говорит: “Кто бы русским языком не козырял, но только не нацмены”. Посмотрим, думаю, цыплят по осени считают. Думаю, мы в одной группе. Я села на первую парту. – Кто написал, сдавайте. А я сижу и жду, чтобы посмотреть фамилию того парня. Когда он встал и положил, я прочла его фамилию. Назавтра приходите узнавать оценки в два часа. Приходим. Он в списке, написал на “два”. Тут я ему сказала: «Вы, молодой человек, оказывается, “на отлично” знаете русский язык!»

В каждом нарративе “поколения 1,5” всегда присутствует *тема русского языка* как знака социальной адаптации выселенных, их исключенности или включенности в местное сообщество. Галина рассказывает, что она плохо говорила по-русски в первый год обучения в школе, а на вступительных экзаменах в институт уже была уверена в своих знаниях (“Я русский хорошо знаю, если кто плохо знает, садитесь со мной”). Замечание русского абитуриента о нацменах ранило 18-летнюю девушку, так как подразумевало сомнение в возможности успешной интеграции представителей этнических меньшинств. Галина не спустила парню этого, иронично ответив ему по итогам диктанта. Уверенное знание сложных правил русского языка свидетельствует о том, что девушка уверенно чувствовала себя в обществе. Для детей депортированных знания были социальным капиталом. Многие вспоминают, что старались хорошо учиться и гордились своими школьными успехами. Это помогало пережить травму и как-то нейтрализовать негатив от стигмы.

Возвращение

Нас, всех калмыков, собрали, директор зачитал, что всех калмыков направляют домой и дают подъемные. Когда родители сказали “будем ехать”, конечно, все засобирались. Первое впечатление [от Калмыкии] такое плохое было: зелени нет, такая жара. Думала: все, побуду, матери скажу и уеду. Но мама у нас такая, если ослушаетесь, я вас, таких-сяких чертей, на одну веревку повешу... Наш дом и до сих пор там стоит. Когда мы сюда приехали, отец нас на [животноводческой] точке разместил. Потом он взял ссуду – тысячу рублей, что ли? – и за эти деньги купил дом, и мы переехали в центр Яшалты.

Первое неприятие приписанной родины и медленное привыкание к ней, к калмыцким степям, что проговаривает Галина, – также типичный сюжет для “поколения 1,5”. “Дети Сибири” своими глазами видели стариков, целовавших и даже евших землю, о возвращении на которую мечтали все 13 лет (Гучинова, Клименко 2022), но для выросших вдалеке от Калмыкии многое было не так: слишком жарко, ветрено, пыльно... Несомненно, категория родины также не является примордиальной. В данном случае мы можем говорить о двух малых родинках в рамках одной страны: родине детства – местности, в которой вырос, и приписанной родине, связанной с общей для всех членов группы историей. Парадоксально, но с Сибирью – родиной детства, хотя и обретенной в результа-

те насилия, сохраняется особая эмоциональная связь: образы, природа, воздух, запахи, питание, окружающие люди и даже язык.

Память

Дети мои о Сибири знают, а теперь я рассказываю внукам. Мы одну обувь имели на двоих, а у тебя все есть. Стало быть, только и требуется, чтобы учился. Мы хотели учиться, хотели выйти в люди, получить высшее образование. И вы должны <...> Есть такое, что и стыдно рассказывать, не хочется омрачать их [детей] души [рассказами] о том, как в первую зиму дразнили людоедами, узкоглазыми и не пускали на каток кататься. А мы стояли, как обиженные, виноватые. Я съездила Поездом Памяти. Привезла целый мешок сибирской картошки, пусть и внуки попробуют. Когда уже хорошо стали жить, забыли о плохом.

Рассказчица говорит о сознательном отборе в коммуникативной памяти: умалчивании о том, о чем “стыдно рассказывать”. Что же не достойно передачи внукам? Самые тягостные воспоминания относятся к первым месяцам жизни на новом месте, когда практики исключения из общества были самыми жестокими (“как дразнили людоедами, узкоглазыми, не пускали на каток” и как “стояли виноватыми”). Это квинтэссенция травмы, оставшейся, видимо, во многих семьях: надуманное обвинение (людоеды), фенотип (узкоглазые) как визуальная граница группы, страх и неприятие со стороны местного населения. Нежелание “омрачать души внуков” приводит к тому, что память становится щадящей, сглаженной. Это больше относится к воспоминаниям “поколения 1,5”. Между тем в комплексе опубликованных мемуаров о депортации, в которых зафиксированы преимущественно воспоминания “поколения 1”, часто встречаются акценты именно на травмирующих сюжетах, которые запоминаются сразу.

Практически в каждом нарративе есть педагогическая составляющая, что отражает ближайшую социальную цель рассказчика. В анализируемом тексте мы видим призыв учиться, преодолевать трудности. Если попытаться выделить позитивные и негативные сюжеты в устной истории Галины, то первых гораздо больше. Помнить о добре значительно приятнее, чем о практиках исключения. К тому же нелицеприятные оценки в нарративе часто ассоциируются с рассказчиком.

* * *

Повествования о далеком прошлом всегда имеют двойную темпоральность: рассказчик вспоминает события из детства 1940-х годов, а оценки формулируются зрелым человеком из 2000-х годов, гражданином уже другой страны. Такая двойная оптика передает работу памяти за несколько десятилетий, поэтому, несмотря на драматические события и язык травмы, отражающий и, возможно, нейтрализующий травматический эффект, этот нарратив (Галины), в терминах Дж. Александера, позитивный. В отличие от трагического, где травма вопиет о себе, прерывает связь времен, позитивный нарратив оставляет травмирующему событию его место в истории, которая не прекращается в связи с ним (Александр 2013: 164).

Конечно, опыт депортированных калмыцких детей не был уникальным, через подобное проходили дети и других стигматизированных групп, но все же некоторая специфика есть. Если родители в дворянских семьях приходили на

помощь своим детям, стараясь отслеживать круг их общения¹ (Чуйкина 2006: 136), чтобы вторичная социализация в новой среде, в которой им придется самостоятельно принимать решения, протекала менее конфликтно, то калмыцкие дети часто оставались наедине со своими проблемами. Они не могли утаить от общества свои особенности (внешность, незнание русского языка), отличающие их от окружающих. Граница группы была видна физически, она стала для них “железной клеткой”, как обозначил ее применительно к японцам в США Р. Такаки (Takaki 1990). Взрослые калмыки сами плохо ориентировались в новых реалиях, и дети рано выросли.

Но стратегии адаптации к большому обществу у всех детей в стигматизированных группах были схожими. Калмыцкие ребята, как и другие (дети из дворянских семей или из группы американцев японского происхождения после Перл-Харбора), стремились преодолеть “социальную исключенность за счет ударного труда, отдавая все силы работе” (Чуйкина 2006: 143), демонстрируя сверхусердие во всем (Takezawa 1995: 44).

Если выделять специфику нарративов “поколения 1,5”, то необходимо отметить важность следующих сюжетов: о школе (о роли учителей, об учебе, об отношениях со сверстниками), о стратегиях адаптации к большому обществу (об освоении русского языка, об участии в художественной самодеятельности и спортивных успехах), о выборе вуза и трудностях поступления, о получении паспорта и, наконец, о возвращении в Калмыкию, которая не сразу пришлась по душе. Для устных рассказов этого поколения также характерны внутренние монологи, передающие былые волнения, страхи и опасения. Язык травмы в нарративе проявляется через образы смерти и инвалидности, через описание нечистот, голода, болезней, нехватки самого необходимого и т.д., но концентрация травматического в рассказах “детей Сибири” меньше, чем у “поколения 1”.

Интервью Галины, как и другие, которые мне удалось записать, было позитивным. Похоже, что на индивидуальном уровне травма депортации пережита перенесшими ее. Об этом говорит сам нарратив о жизни рассказчицы, в котором трудности оказались преодоленными, и это подтверждается продолжением рода (Галина говорит о своих детях и внуках, которым она рассказывает о Сибири). Таким образом, на рассказ о депортации накладывается народная сказительская традиция, в которой хорошее развитие семейных событий включает и приумножение членов семейства – выросшие, получившие образование дети и внуки не позволяют считать жизнь неудачной.

Примечания

¹ Мне известны антропологические исследования, посвященные только этим двум стигматизируемым группам (дворянским семьям и американцам японского происхождения, депортированным из Калифорнии в 1942 г.), в которых изучается адаптация детей как поколенческая проблема.

Источники и материалы

Кугультинов 1988 – Кугультинов Д.Н. От правды я не отрекался // Огонек. 1988. № 35. С. 24–25.

Научная литература

- Александр Д. Смыслы социальной жизни: культур-социология / Пер. с англ. Г. Ольховикова. М.: Практикс, 2013.
- Анипкин М. Поколение лишних людей: антропологический портрет последнего советского поколения // Неприкосновенный запас. 2018. № 117. С. 290–308.
- Бакаев П.Д. и др. (сост.) Книга памяти ссылки калмыцкого народа: сборник документов и материалов. Т. 1. Кн. 1. Элиста: Калмыцкое книжное изд-во, 1993.
- Дубина В. Биография // Все в прошлом: теория и практика публичной истории / Отв. ред. А. Завадский, В. Дубина. М.: Новое изд-во, 2021. С. 143–172.
- Гучинова Э.-Б.М. У каждого своя Сибирь. Две истории о депортации калмыков (интервью с С.М. Ивановым и С.Э. Нарановой) // *Oriental Studies*. 2019. № 3. С. 397–422. <https://doi.org/22162/2619-0990-2019-43-3-397-422>
- Гучинова Э.-Б.М. Нарративы детей Сибири о депортации калмыков. Интервью с В.И. Бадмаевым и А.Н. Овшиновым // *Oriental Studies*. 2021а. Т. 14. № 4. С. 722–742. <https://doi.org/10.22162/2619-0990-2021-56-4-722-742>
- Гучинова Э.-Б.М. “Мертвецы есть?": язык травмы в нарративах о дороге в Сибирь // *Монголоведение*. 2021б. № 2. С. 303–313. <https://doi.org/10.22162/2500-1523-2021-2-303-313>
- Гучинова Э.-Б.М., Клименко Г.А. “У меня была хорошая Сибирь”. Устные истории о депортации калмыков “поколения 1,5” // *Этнография*. 2022. № 2 (16). С. 94–117. [https://doi.org/10.31250/2618-8600-2022-2\(16\)-94-117](https://doi.org/10.31250/2618-8600-2022-2(16)-94-117)
- Некрич А.М. Наказанные народы. Нью-Йорк: Хроника, 1978.
- Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. М.: Весь мир, 2003.
- Чуйкина С.А. Дворянская память: “бывшие” в советском городе (Ленинград, 1920–30-е годы). СПб.: Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2006.
- Ядов В.А. и др. Отцы и дети. Поколенческий анализ современной России. М.: НЛЮ, 2005.
- Rumbaut R.G. Rumbaut Ages, Life Stages, and Generational Cohorts: Decomposing the Immigrant First and Second Generations in the United States // *International Migration Review*. 2004. Vol. 38. No. 3. P. 1160–1205. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2004.tb00232.x>
- Strauss W., Howe N. Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. N.Y.: William Morrow & Company, 1991.
- Takaki R. Iron Cages: Race and Culture in Nineteenth-Century America. Oxford: Oxford University Press, 1990.
- Takezawa Y. Breaking the Silence: Redress and Japanese American Ethnicity. Sage House: Cornell University Press, 1995.

Research Article

Guchinova, E.-B.M. The Memory of the Deportation of Kalmyks of “Generation 1.5”: Narrative Construction [Pamiat’ o deportatsii kalmykov “pokoleniia 1,5”: konstruirovaniie narrativ]. *Этнографическое обозрение*, 2023, no. 1, pp. 30–44. <https://doi.org/10.31857/S0869541523010037> EDN PLUMZR ISSN 0869-5415
© Russian Academy of Sciences © Institute of Ethnology and Anthropology RAS]

Elza-Bair Guchinova | <http://orcid.org/0000-0002-9901-0131> | bairjan@mail.ru | Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences (32-a Leninsky prospect, Moscow, 119991, Russia)

Keywords

deportation, social memory, Siberia, Kalmyks, memory, narrative, language of trauma, generation 1.5

Abstract

The memory of the deportation of the Kalmyks as a traumatic event is not homogeneous. Women and men, expelled as teenagers or adults, or Kalmyk children born as “spetspereseleny”, had different experiences of eviction and survival and remember these years in different ways. The oral stories I have collected show the memory of the community through personal narratives, revealing variety of personal strategies and resistance. In this publication, I would like to show, using the example of one interview, the features of social memory about the deportation of the Kalmyks and the specifics of the narrative about this “generation 1.5”. The main research task was to analyze the plots, images, assessments that form the narrative about the deportation of the Kalmyks from the “children of Siberia”. Other objectives of the publication: to find out how the language of trauma works in the narrative about the deportation of the Kalmyks, to show the possibilities of commentary as a scholarly genre. The article consists of three parts: an introduction, fragments of the text of a spontaneous interview and comments on them. The study used the method of discursive analysis and generational theory. The field material is presented in the form of a transcribed text of an interview recorded by the author in 2006. The discursive strategies of the narrative speak of its positive nature.

References

- Alexander, J. 2013. *Smysly sotsial'noi zhizni: kul'tur-sotsiologiya* [The Meanings of Social Life: A Cultural Sociology]. Moscow: Praksis.
- Anipkin, M. 2018. Pokolenie lishnikh liudei: antropologicheskii portret poslednego sovetskogo pokoleniia [A Generation of Superfluous People: An Anthropological Portrait of the Last Soviet Generation]. *Neprikosnovennyi zapas* 117: 290–308.
- Bakaev, P.D., et al. 1993. *Kniga pamiati ssylki kalmytskogo naroda: sbornik dokumentov i materialov* [The Book of Memory of Exile of the Kalmyk People]. Vol. 1 (1). Elista: Kalmytskoe knizhnoe izdatel'stvo.
- Chuikina, S.A. 2006. *Dvorianskaia pamiat': “byvshie” v sovetskom gorode (Leningrad, 1920–30-e gody)* [Noble Memory: “Former” in the Soviet City (Leningrad, 1920–30s)]. St. Petersburg: Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge.
- Dubina, V. 2021. Biografiia [Biography]. In *Vse v proshlom: teoriia i praktika publichnoi istorii* [Everything Is in the Past: Theory and Practice of Public History], edited by A. Zavadskii and V. Dubina, 143–172. Moscow: Novoe izdatel'stvo.
- Guchinova, E.-B.M. 2019. U kazhdogo svoia Sibir'. Dve istorii o deportatsii kalmykov (interv'iu s S.M. Ivanovym i S.E. Naranovoi) [‘Everyone Has One’s Own Siberia’: Two Stories of the Kalmyk Deportation (Interviews with S. M. Ivanov and S. E. Naranova)]. *Oriental Studies* 3: 397–422. <https://doi.org/10.22162/2619-0990-2019-43-3-397-422>

- Guchinova, E.-B.M. 2021. Narrativy detei Sibiri o deportatsii kalmykov. Interv'iu s V.I. Badmaevym i A.N. Ovshinovym [Narratives of the Children of Siberia about the Deportation of the Kalmyks: Interview with V.I. Badmaev and A.N. Ovshinov]. *Oriental Studies* 14 (4): 722–742. <https://doi.org/10.22162/2619-0990-2021-56-4-722-742>
- Guchinova, E.-B.M. 2021. “Mertvetsy est'?”: yazyk travmy v narrativakh o doroge v Sibir' [‘Are There Any Corpses?’: The Language of Trauma in Narratives about Way to Siberia]. *Mongolovedenie* 2: 303–313. <https://doi.org/10.22162/2500-1523-2021-2-303-313>
- Guchinova, E.-B.M., and G.A. Klimenko. 2022. “U menia byla khoroshaia Sibir”. Ustnye istorii o deportatsii kalmykov “pokoleniia 1,5” [“I Had a Good Siberia”: Oral Histories about the Deportation of Kalmyks “Generation 1,5”]. *Etnografiia* 2 (16): 94–117. [https://doi.org/10.31250/2618-8600-2022-2\(16\)-94-117](https://doi.org/10.31250/2618-8600-2022-2(16)-94-117)
- Nekrich, A.M. 1978. *Nakazannye narody* [Punished Peoples]. New York: Khronika.
- Rumbaut, R.G. 2004. Rumbaut Ages, Life Stages, and Generational Cohorts: Decomposing the Immigrant First and Second Generations in the United States. *International Migration Review* 38 (3): 1160–1205. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2004.tb00232.x>
- Strauss, W., and N. Howe. 1991. *Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069*. New York: William Morrow & Company.
- Takaki, R. 1990. *Iron Cages: Race and Culture in Nineteenth-Century America*. Oxford: Oxford University Press.
- Takezawa, Y. 1995. *Breaking the Silence: Redress and Japanese American Ethnicity*. Sage House: Cornell University Press.
- Tompson, P. 2003. *Golos proshlogo. Ustnaia istoriia* [Voice of the Past: Oral History]. Moscow: Ves' mir.
- Yadov, V.A., et al. 2005. *Ottsy i deti. Pokolencheskii analiz sovremennoi Rossii* [Fathers and Sons: Generational Analysis of Modern Russia]. Moscow: NLO.